

Александр Панченко

Люк Болтански. Тайны и заговоры. По следам расследований. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. 502 с. ISBN 978-5-94380-274-4.

Александр Панченко, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург; Европейский университет в Санкт-Петербурге. Адрес для переписки: Институт русской литературы РАН, наб. Макарова, 4, Санкт-Петербург, 199034, Россия. aranchenko2008@gmail.com.

Концепт тайны – при всем разнообразии его возможных значений и коннотаций – можно считать одним из ключей к европейской культуре Нового времени, по крайней мере, применительно к тому, как люди представляют себе социальную реальность и пытаются с ней взаимодействовать. «Проблематизация» или «детавтологизация» повседневности тем или иным образом происходят во всех обществах, однако характер этого процесса может достаточно серьезно различаться в разных культурах. Те из них, что мы привыкли называть религиозными, связывают «разрывы» обыденной реальности с существованием сверх- или нечеловеческих агентов, способных коммуницировать с обычными людьми, контринтуитивными свойствами артефактов и природных объектов, трансперсональными состояниями и демонической одержимостью. В секулярных обществах Нового времени такие идеи и представления отчасти утрачивают свою привлекательность, однако сама по себе проблема «неоднородности» повседневного мира и действующих в нем «потусторонних» сил остается по-прежнему важной для коллективного воображения. Приблизительно так рассуждал Карл Поппер, предлагая считать современную конспирологию «типичным результатом секуляризации религиозных предрассудков» (1992:112–113). В историческом отношении Поппер, судя по всему, ошибался: «религиозные предрассудки» не покинули онтологию западных культур, и им нашлось место в мире заговорщиков, тайных обществ и законов общественного развития. Однако эпоха секуляризма все же сформировала довольно специфическую социальную эпистемологию, где идеи тайны, заговора и скрытой угрозы играли и продолжают играть заметную роль.

Недавно переведенная книга французского социолога Люка Болтански начинается с анализа этой эпистемологии на примере двух форм современной массовой литературы – детективного и шпионского романов. Такой подход представляется вполне оправданным, поскольку о коллективном воображении или повседневных онтологиях вряд ли стоит судить по философским трактатам, идеологическим манифестам и политическим декларациям. Наше – скорее интуитивное, чем рефлексивное – понимание окружающего мира формируется и репрезентируется сюжетами, нарративами и образами массовой культуры, будь то детективный или любовный роман, современная легенда или анекдот. В этой перспективе историческая преемственность прозаических жанров и их разновидностей может служить своего рода индикатором кризисов и трансформаций «симво-

лических вселенных», в которых существуют разные общества, государства или социальные группы.

Социальный, или онтологический, смысл концепта тайны подразумевает, по мысли Болтански, разрыв «бесшовной ткани реальности» (с. 47). Иными словами, тайна представляет собой нарушение наших социальных интуиций и конвенционального понимания причинно-следственных связей: вещи и человеческие поступки не таковы, какими они кажутся на первый взгляд, событие нуждается в дополнительной атрибуции, реальность не равна сама себе. Тайна нарушает «естественный» ход вещей и требует раскрытия, то есть нормализации социального порядка.

Как полагает Болтански, значимость концепта тайны для европейской культуры XIX–XX веков и его специфическое использование в повествовательной модели детективного романа, сигнализируют о своего рода «кризисе реальности». Какова, однако, природа этих социальных тревог? Болтански считает, что игра с реальностью, определяющая специфику рассматриваемых им жанров, напрямую связана с представлениями о «национальном государстве» как залоге общественной нормы и предсказуемости. «Этатистский проект», опирающийся на науку и технику, образование и социальные исследования, подразумевает «по крайней мере имплицитное сближение реальности проживаемой и установленной, субъективностей и объективных механизмов, которые эту реальность оформляют» (с. 67). «Роль Государства видится [...] в том, чтобы понимать, контролировать и в определенной мере упорядочивать реальность, в которой протекает жизнь подчиненного ему населения, вплоть до обеспечения его образованием и, насколько это возможно, условиями для личного благоденствия» (с. 68). Это, по-своему утопическое, сочетание представлений о власти, обществе и знании, основанных на природных и социальных законах, сталкивается, впрочем, со специфическими проблемами.

С одной стороны, политическая демократия не позволяет полностью устранить противоречия между объективной нормой этатистской реальности и субъективным опытом индивидуальных акторов. Конфликт официального и неофициального, лежащий в основе большей части классических детективных сюжетов, подразумевает, что люди, действующие от лица государственных институтов, нарушают порядок реальности, преследуя собственные или чужие скрытые интересы. Поэтому, как утверждает Болтански, «авторитарное государство – малопригодная почва для расцвета детективного романа. Стремление такого государства придать реальности форму, а главное – пристально контролировать то, как она отображается, рано или поздно достигает предельной точки, за которой уже невозможно продолжать тонкие литературные игры, ставящие реальность под вопрос» (с. 80).

С другой стороны, идеология национального государства противоречит и логике капиталистических отношений, чьи закономерности основаны на не знающих границ потоках финансов, товаров и рабочей силы. В этом смысле капитализм также угрожает стабильности обыденной реальности.

Болтански развивает свои идеи на двух примерах «классических» циклов детективных романов, повестей и рассказов о Шерлоке Холмсе и комиссаре Мегре, сравнивая, соответственно, специфику британского общества конца XIX – первых десятилетий XX века и французского – в эпоху Третьей и Четвертой республики. В качестве «модельного» шпионского романа в книге обсуждается «39 ступеней» Джона Бакена (1915), хотя здесь речь идет и о других авторах, в частности – Эрике Эмблере, Грэме Грине и Джоне Ле Карре. В контексте истории литературных форм и типологии сюжетов метод французского социолога не то чтобы исключительно оригинален, но вполне плодотворен: анализ «имплицитной социологии» у Артура Конан Дойла, Жоржа Сименона, Бакена и других упомянутых в книге авторов выглядит убедительно и позволяет понять, как статусы, интенции и роли разных персонажей, а также сценарии их поведения, связаны с сословными границами и претензиями, полномочиями государственных институтов, устройством бюрократического аппарата, политическими предпочтениями и т. п. Однако ограничивается ли дело в данном случае исключительно конфигурациями социальной реальности? Можем ли мы поместить детективный и шпионский романы в более широкий нарративный и концептуальный контекст западной культуры XIX–XX веков?

Концепция Болтански предполагает, на мой взгляд, несколько возможных способов ее развития и проверки. Первый подразумевает «экстенсивное» расширение этой модели за пределы «классических» или «архетипических» образцов детективного и шпионского романов. Сам автор ограничивается следующим наблюдением: эти «видоизменяющиеся системы» могут подчиняться задачам поиска новых художественных форм (отсылая здесь не к исторической поэтике, а к социологии Теодора Адорно и Пьера Бурдьё), но в то же время всегда зависят от «политической модальности» и в этом смысле должны реагировать на меняющуюся роль государства и его представителей (или их общественного восприятия). С этим сложно спорить, но сводится ли проблема «кризиса реальности» к подразумеваемому образу государства? В детективе, скажем, фигура антагониста – преступника – тоже связана с представлениями о нормативной реальности, однако что говорит о государстве перенос концепции преступления и окутывающей его тайны в сферу психопатологии и психоанализа – как это нередко происходит в американском «нуаре» 1930–1950-х годов или в современных детективных романах? Почему самым подходящим персонажем для нарушения нашей «интуитивной социологии» в какой-то момент становится маньяк, совершающий убийства с изощренным садизмом? Как сказывается на «социальном моделировании» криминального сюжета смена исторических декораций, переносящая действие в иные эпохи и политические условия? Как формируется и меняется рецепция классических детективных романов в тоталитарных и авторитарных обществах?

В своем предисловии к русскому переводу книги Олег Хархордин отмечает, что модель Болтански вполне применима к сталинской эпохе, где «дидактика заглохла все и удовольствие от чтения детектива ушло», и полагает, что в детективной литературе позднего СССР можно видеть «угрозу обыденным механизмам воспроизводства реальности социалистического общества», но не «национальной реальности» как таковой (с. 18–19). Вслед за Элиотом Боренстейном (Boren-

stein 2008) Хархордин предлагает отличать соответствующую литературную продукцию 1990-х с ее тягой к «мужским» «героическим боевикам» и «женским детективам» от криминальных нарративов 2000-х, перешедших к «воспеванию порядка, уюта и семейных ценностей» (с. 22). Однако вопрос о том, насколько эти трансформации постсоветской криминальной литературы укладываются в модель Болтански и могут сигнализировать о становлении «российского национального государства», остается для Хархордина не вполне ясным.

Мне представляется, что этот пример указывает на скрытый порок концепции французского социолога, невольно эссенциализирующего и детективный сюжет, и национальное государство. Вполне допустимо, что общественные конвенции и механизмы воспроизведения реальности, сделавшие возможным появление детективного и (в особенности) шпионского романов, появились благодаря эволюции национальных государств во второй половине XIX века. Стоит ли думать, однако, что эти конвенции сводятся исключительно к «этатистской утопии»? Образ «социальных тревог» – фигура психологизации, к которой очень любят прибегать специалисты, занимающиеся исследованием городских легенд и других форм современного фольклора, – здесь на самом деле мало что объясняет. Реальность (если речь идет не о мире тоталитаризма или антиутопии) всегда служит предметом переговоров между индивидуальными и коллективными акторами общественного процесса. В этом смысле и криминальный сюжет, и конспирологический нарратив, и современная легенда, как мне кажется, указывают не на солидарные упования либо опасения общества касательно полномочий государства, но на дискуссию об устойчивости и границах социальной реальности самой по себе, где индивидуальная агентность, моральные нормы, экономические права и возможности, формы потребления и так далее интерпретируются не только в этатистском или политическом контекстах. Протагонист детективного романа – сыщик, так или иначе нарушающий установленные государством процедуры нормализации, – оказывается здесь не просто символом внутренних противоречий либеральной демократии, но и олицетворением харизматической власти, обеспечивающей индивидуальную автономию от государства как такового.

Русская литература сталинской эпохи действительно практически лишена детективных сюжетов, а распространенные в ту пору шпионские романы существенно отличаются от западных. О причинах этого нужно рассуждать отдельно. Важно, однако, что в мире сталинизма, подразумевающего неразличимость этатистской нормы и субъективного опыта (и соответственно оперирующего образом тотального заговора против государства), общественные переговоры о природе реальности невозможны или крайне затруднены. Однако в СССР 1960–1980-х годов они – с определенными оговорками – оказываются допустимыми, и именно в эту эпоху мы наблюдаем резкий рост популярности детективного жанра, в том числе переводов Конан Дойла, Сименона и Агаты Кристи. Советские детективные и шпионские тексты – при всех идеологических и цензурных ограничениях, тяге к дидактике и «семантических подменах» – были тоже довольно разнородными. Типичные «производственные романы» о «буднях милиции» здесь неожиданно перемежаются историями о гениальном следователе-одиночке, бросившем ради

розыскной работы высшую математику, читающем Шекспира и Мельникова-Печерского и расхаживающем не в кителе, а в «импортном пиджачке». Короче говоря, «видоизменения» детективных схем в советском и подобных ему обществах заслуживают, как мне кажется, не меньшего внимания, чем западноевропейская «классика», позволяя и расширить, и модифицировать аналитическую оптику Болтански.

Другая возможная перспектива развития этой оптики – обсуждение имплицитной социологии детективных и шпионских сюжетов в контексте других современных им литературных форм, например – фантастического или любовного романов. Стоит ли думать, что в них мы тоже столкнемся с какими-то сегментами и проблемами нормативной социальной реальности? Болтански кратко указывает и на эту проблему, упоминая в качестве сравнительного материала социальные и военные романы. Однако такая аналитическая линия его тоже не увлекает.

Наконец, третий вариант – обратиться к более широким контекстам современной онтологии и социальной эпистемологии, связанным с концептами тайны и заговора. Болтански так и поступает, однако сразу же оговаривается, что здесь его занимает преимущественно конкретный эпистемологический и методологический вопрос – «о сходстве интересов и тревог, проникающих, с одной стороны, в детективный и шпионский романы, с другой – в социологию и, наконец, в сознание людей, признаваемых параноиками» (с. 100). Обсуждению этого сходства и посвящены две последние главы книги.

Принято считать, что академические дискуссии о конспирологии как особой мировоззренческой культуре начались со статьи американского историка Ричарда Хофштадтера «Параноидальный стиль в американской политике», опубликованной в 1964 году в «Harper's Magazine» и в переработанном виде вошедшей в книгу того же автора (Hofstadter 1965). В ней теории заговора были представлены как своего рода сгусток коллективной психической энергии, получающей «социальный резонанс» в конкретных исторических обстоятельствах. Болтански в позиции Хофштадтера интересуется, в частности, генеалогия «социологического» использования термина «паранойя», и он возводит ее довольно далеко – к европейской характерологии конца XIX – начала XX веков, где симптомы «бреда интерпретации» прочитывались в контексте представлений о дегенерации, «ресентиментной личности» и «деклассированных интеллектуалах», которых объединяют маргинальность, подозрительность и критический антиобщественный настрой. При этом Болтански не знает или не считает нужным вспомнить, что спустя два десятилетия после публикации «Параноидального стиля» идеи Хофштадтера были оспорены другим американским историком – Гордоном Вудом, предложившим альтернативную концепцию генезиса конспирологических моделей в эпоху Просвещения (Wood 1982). Грубо говоря, речь у него шла о своеобразной «наивной социологии» – поисках «естественных законов» человеческого поведения, проецированных на сословное общество, где простонародью приписывались искренность и чувствительность, а элитам – рациональность и скрытность. Этот подход, репрезентирующий теории заговора как органическую часть либо побочное следствие развития рационалистической эпистемологии, довольно близок идеям Болтански

о проблематизации социальной реальности в национальных государствах конца XIX века. Впрочем, и статья Вуда заканчивается своего рода патографическим выводом, который сегодня вряд ли можно признать убедительным: «В наши дни конспирологические объяснительные модели стали настолько неуместными, что их можно интерпретировать лишь как вид психического расстройства, как параноидальный стиль, указывающий на психологическую дисфункцию» (Wood 1982:441).

Можно согласиться с Болтански в том, что в последние десятилетия XX – начале XXI века и термин «паранойя», и словосочетание «теория заговора» стали «общим местом политической журналистики и политических наук» (с. 323), да и обыденного языка в целом. Правда, его не слишком полный и не вполне последовательный обзор академических работ, посвященных конспирологии (с. 327–347), выглядит несколько анахронистично, если не сказать – наивно. Полагая, что перед теоретиками, верящими «в существование такого предмета, как теория заговора», стоит проблема «четкой разграничительной линии, отделяющей “настоящие заговоры” от “воображаемых”» (с. 330), и что одна из главных задач в этой области – сделать определение теории заговора «устойчивым», Болтански апеллирует лишь к части соответствующих исследований. Посвященные конспирологии работы антропологов зачастую исходят из несколько иной оптики. В качестве одного (но не единственного) примера можно вспомнить статью Матиса Пелкманса и Риса Мачолда, где демонстрируется, что в эпистемологическом отношении теории заговора не отличаются от любых других теорий. Свою задачу авторы видят в поиске «аналитической стратегии, позволяющей определять достоверность и “полезную стоимость” теорий заговора» (Pelkmans and Machold 2011:68). Таким образом, если идея конспирологии представляет собой средство стигматизации, используемое сильными в борьбе против слабых, необходимо обращать внимание не только на содержательную сторону или логику конспирологических нарративов, но и на их меняющиеся контексты и формы социального использования.

Специалисты по мифологии, фольклористике и антропологии религии давно уже не рассуждают о степени достоверности или «отношении к действительности» изучаемых ими сюжетов. Речь здесь идет как раз о «социальных траекториях» текстов, о том, как последние трансформируют и умножают наши представления о реальности и как их «нестрогая достоверность» используется отдельными людьми и группами в борьбе за власть и социальный контроль. Показательно, что аналитическая логика Болтански движется именно в этом направлении, однако в своих рассуждениях о контекстах и модальностях восприятия и трансмиссии конспирологических нарративов он заново изобретает идеи и концепции, уже давно обсуждаемые антропологами и фольклористами. Так, в своем разграничении «нарративного» и «фабульного» модусов «событийного рассказа» (с. 360–362), восходящем в данном случае к дихотомии сюжета и фабулы у русских формалистов, он дублирует целую серию соответствующих фольклористических концепций – от «мемората» и «фабулата» у Карла фон Зюдова до анализа риторического аппарата легенды у Элиота Оринга («слова как слова» – words as words – и «слова как мир» – words as world) (Oring 2008). Говоря о трансмиссии сюжетов, Болтански мельком (хотя и не вполне точно) упоминает теорию минимального контрин-

туитивного эффекта Паскаля Буайе (с. 360), не зная опять-таки, что в когнитивном религиоведении и психологии этому подходу посвящена обширная литература.

Впрочем, скажем так, этнография теорий заговора – и современная, и историческая – Болтански тоже не очень занимает. Единственный конспирологический нарратив, которому в книге посвящен специальный раздел (с. 251–258), – это «Протоколы сионских мудрецов», причем здесь автор допускает эмпирические неточности. Повторяя расхожее мнение, что «Протоколы» были «сфабрикованы в Париже в 1897 или 1898 г.» (с. 253), Болтански не учитывает недавнюю книгу Чезаре де Микелиса «Несуществующий манускрипт» (De Michelis 2004). В ней, между тем, довольно убедительно доказывается, что этот текст появился в России в 1902–1903 годах в качестве своеобразной реакции на пятый Сионистский конгресс в Базеле. Для рассуждений Болтански, которого занимает генеалогическая связь между «Протоколами» и «Разговором в аду» Мориса Жоли, эти фактографические детали, наверное, не очень значимы, однако для истории конспирологии и антисемитизма в России рубежа XIX–XX веков они довольно важны. Вряд ли можно согласиться и с тем, что «распространение этого издания обеспечило идеологическую основу многочисленных погромов». Впрочем – это тема для отдельного разговора.

В последней главе книги автор, как и обещал, обращается к социологической теории. Болтански подчеркивает, что критический индетерминизм (или методологический индивидуализм) Поппера важен не только для критики «тотальных» объяснительных моделей, подобных марксизму, но и для понимания того, как вообще обособляются субъекты или единицы социальных и исторических процессов, которым приписывается (пусть и условная) интенциональность и чьи (пусть и воображаемые) действия могут считаться причиной явлений или событий. «Проклятие Поппера», как выражается Болтански, состоит в «неизбежной связи между ссылками на наличие коллективных единиц» (группы, нации, классы, сообщества, цивилизации) и «на наличие заговора» (с. 384). Если мы приписываем какому-то сообществу единую и согласованную интенцию, мы в любом случае становимся своего рода конспирологами. Болтански обсуждает разные способы избежать этой проблемы (среди последних по времени – микросоциологический подход и сетевой анализ), однако утверждает, что на уровне процедур социологическое исследование, журналистское расследование и полицейское следствие в любом случае остаются изоморфными, а постулируемые ими предикаты общественного взаимодействия в равной степени могут быть приписаны любому конкретному человеку. Это приводит к эффекту «многопозиционности»: власть, которой обладает конкретный индивид, допустимо одновременно объяснять и его институциональным положением, и его неформальными связями, что возвращает нас к конфликту официального и неофициального. В результате социология лишается интеллектуальной автономии: в конечном счете она служит таким же средством проблематизации реальности, как детективный роман или конспирологический нарратив. И за всем этим, если я правильно понял Болтански, по-прежнему стоит призрак национального государства.

Не будучи социологом, я не особенно переживаю по поводу автономии или методологических перспектив этой академической дисциплины. Вместе с тем картина, нарисованная Болтански (а в несколько иной терминологической перспективе и другими авторами: здесь можно, в частности, вспомнить концепцию «стигматизированного знания» Майкла Баркуна, см.: Barkun 2015), говорит, что разные способы установления причинно-следственных связей (или «расследования») применительно к социальной реальности в современном мире лишаются иерархических статусов и жестко установленных дискурсивных границ. Это, наверное, не предвещает скорого слияния академического обществоведения и бытовой конспирологии, однако подразумевает, что сам по себе социальный образ знания сегодня оказывается более сложным по сравнению с XX веком.

Болтански можно упрекнуть в некотором схематизме, излишне быстрой смене тем и аналитической перспективы, а иногда и в недостаточной начитанности в предметных областях, о которых он берется рассуждать. Такие претензии, впрочем, можно адресовать большинству социальных теоретиков. Вместе с тем это остроумная и яркая книга, которую, как мне кажется, стоит читать не только специалистам по конспирологии, детективному роману или критической социологии, но и всем, кому интересно устройство социальной реальности, в которой мы живем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Поппер, Карл. 1992. *Открытое общество и его враги*. Т. 2. М.: Феникс; Международный фонд «Культурная инициатива».
- Barkun, Michael. 2015. "Conspiracy Theories as Stigmatized Knowledge." *Diogenes* 62(3–4):114–120. doi:10.1177/0392192116669288.
- Borenstein, Eliot. 2008. *Overkill: Sex and Violence in Contemporary Russian Popular Culture*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Hofstadter, Richard. 1965. *The Paranoid Style in American Politics, and Other Essays*. New York: Knopf.
- De Michelis, Cesare G. 2004. *The Non-Existed Manuscript: A Study of the Protocols of the Sages of Zion*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Oring, Elliott. 2008. "Legendry and the Rhetoric of Truth." *Journal of American Folklore* 121(480):127–166.
- Pelkmans, Mathijs, and Rhys Machold. 2011. "Conspiracy Theories and Their Truth Trajectories." *Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology* 59:66–80.
- Wood, Gordon S. 1982. "Conspiracy and the Paranoid Style: Causality and Deceit in the Eighteenth Century." *William and Mary Quarterly* 39(3):401–441.